

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

О КНИГЕ П. Я. ЧЕРНЫХ «ОЧЕРК РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ»¹

Вопросы развития русской лексики от древнейших времен до наших дней не получили пока в научной литературе полного и всестороннего освещения. Основной причиной этого пробела следует признать в первую очередь отсутствие исторического словаря русского языка, а также специальных словарей по разным областям русской лексики.

Известные «Материалы для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского остаются основным, если не единственным, справочником для всякого исследователя, интересующегося вопросами древнерусской лексики. За последние годы в Советском Союзе было написано несколько диссертаций, посвященных отдельным сферам древнерусской лексики, но в основном это пока сырой материал. Вот почему рассматриваемая работа проф. П. Я. Черных, представляющая собою учебное пособие для филологических вузов, была встречена и за пределами Советского Союза с большим интересом.

«Очерк русской исторической лексикологии» отличается от обычных вузовских пособий тем, что он является не сводкой более или менее проверенных фактов по данной дисциплине, а скорее рядом самостоятельных этюдов и эскизов с множеством отступлений и экскурсов. Назвать же самостоятельным монографическим исследованием эту работу нельзя из-за отсутствия строгой цитации; читателю, мало знакомому с проблематикой славянской и древнерусской лексикологии (а студент филологического вуза является именно таким читателем), подчас будет трудно отделить общеизвестные факты от оригинальных высказываний самого автора, проверенные истины от более или менее спорных точек зрения отдельных, в книге далеко не всегда упоминаемых, исследователей.

«Очерк» разбит на пять неравных по объему глав: «Введение» (стр. 3—23), «Общеславянский словарный фонд и его развитие в древнерусскую эпоху» (стр. 24—93), «Диалектальные явления общеславянской эпохи. Общевосточнославянская лексика» (стр. 94—96), «Лексические явления древнерусского периода. Эпоха Киевской Руси» (стр. 97—183) и «Изменения в словарном составе русского языка XVI—XVII вв.» (стр. 184—239).

В первой главе автор определяет главную задачу русской исторической лексикологии. Предмет лексикологии, в том числе и исторической, автор понимает, по его же словам, несколько упрощенно. Лексикология, согласно мнению П. Я. Черных, имеет дело только с «полными», самостоятельными (т. е. неслужебными) словами, имеющими реальное значение (стр. 22). Поэтому внимание автора сосредоточивается почти исключительно на именах существительных и прилагательных, в гораздо меньшей степени на глаголах, в то время как наречия (за исключением отдельных эскизов) остаются вне поля его зрения. Совершенно не затрагивается вопрос о развитии местоимений и числительных, а также служебных частей речи (предлогов, союзов, частиц, модальных и вводных слов, междометий). Предполагается, по-видимому, что эти части речи трактуются в соответствующих главах исторической грамматики.

Несмотря на сравнительное богатство привлекаемого материала, П. Я. Черных не определяет каких-либо общих тенденций развития русской лексики. Хотя такие обобщения возможны лишь в результате исследования очень большого материала, все же некоторые общие выводы и наблюдения можно было бы сделать и на основании приводимых автором фактов. Он ограничивается изложением этимологии и семантических движений отдельных слов, объединяемых им лишь по поверхностному семантическому признаку в «лексические группы», и почти не касается вопроса о семантических движениях значительных лексических групп или целых словарных пластов. В небольшом разделе, названном «О некоторых приемах образования основы», П. Я. Чер-

¹ П. Я. Черных, Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период, Изд-во Моск. ун-та, 1956, 244 стр.

ных дает на трех страницах (158—160) самые общие сведения о таких приемах пополнения словарного состава, как редупликация (типа общеслав. *гол-голь*); словосложению как приему пополнения словарного состава посвящены три небольших абзаца (стр. 160), а вся проблематика суффиксально-префиксальных словопроизводительных средств сводится к упоминанию о том, что суффиксация являлась наиболее продуктивным способом образования основы уже в общеславянскую эпоху и что суффиксы имеют свою историю (стр. 160). К сожалению, автор не излагает истории отдельных суффиксов, хотя это и является одной из основных задач исторической лексикологии¹.

Таким образом, автор «Очерка» оставил без внимания все основные приемы и процессы пополнения словарного состава русского языка. А между тем было бы крайне интересно наметить общие тенденции в развитии, например, древнерусских отвлеченных отглагольных имен и их перехода в названия более конкретных понятий, обследовать состав и оформление таких древнерусских семантических групп, как названия производителя действия, названия места действия, названия орудия действия и т. п. Общая характеристика лексических «движений» древнерусского словаря значительно пополнилась бы приведением сведений о судьбах отдельных семантических групп имен прилагательных, о переходе предложных именных сочетаний в наречия, о значении некоторых ласкательных, уменьшительных и уничижительных суффиксов в русском языке XV—XVII вв. Обо всем этом мы из книги П. Я. Черных ровно ничего не узнаем, хотя по указанным вопросам имеется ряд ценных исследований (принадлежащих проф. Л. А. Булаховскому, проф. Б. А. Ларину и др.).

Автор подчеркивает во «Введении», что «внутренние законы развития» словарного состава следует изучать в связи с историей народа (стр. 3). Связь языка с внеязыковой действительностью во многих случаях самоочевидна и не нуждается в лингвистической аргументации; это ясно в отношении технической номенклатуры, общественно-политической терминологии, «надстроечной» лексики. Сложнее обстоит дело с такими лексическими группами, как терминология родства и свойства, в которых косвенно отражаются наслоения разных, весьма продолжительных этапов родового строя. При анализе такого рода лексики П. Я. Черных не всегда удается сохранить историческую перспективу. «Конечно,— пишет автор,— слова *мужь* и *жена*, кроме общего значения «человек мужского, женского пола», выражали также и понятия «муж» и «жена» (стр. 29). Так как в данном случае автор говорит об общеславянской лексике, его утверждение лишено исторической обоснованности. Слова *možь* и *žena* могли значить «супруг» и «супруга» лишь после появления института парного брака, возникшего у восточных славян лишь в историческую эпоху. Об этом красноречиво свидетельствуют известные сообщения летописца о древлянах («...брака у нихъ не бываше, но умыкаваху у воды дѣвicia»), или о радимичах, о вятичах и о севере («...бради не бываху въ нихъ», «имяху же по двѣ и по три жены», Лавр. список).

Автор «Очерка» пользуется понятием «основного словарного фонда». Это понятие само по себе удобно для популярного изложения, но лишь с большими натяжками применимо в строго лингвистическом труде. Дело в том, что «самое понятие основного словарного фонда в своей конкретно-исторической сущности еще не раскрыто»², не установлены критерии, на основании которых то или иное слово должно быть отнесено к основному словарному фонду. Автор «Очерка» считает, что сюда «относятся главным образом очень старые слова, которые обозначают важные, жизненно необходимые понятия, составляющие неотъемлемую часть мышления любого человека, говорящего на русском национальном языке (и, пожалуй [?], на любом другом языке)» (стр. 14). Означает ли выражение «очень старые слова» в переводе на привычный нам лингвистический язык лишь общиндоевропейские слова в составе славянской лексики, или оно относится в равной мере и к общеславянской лексике (может быть, только к ней)? Или же автор считает «очень старыми» также специфические восточнославянские лексические элементы? Или, может быть, к «очень старым словам» следует отнести также и заимствования из соседних языков, такие, как *суббота*, *князь*, *уктус*, *стекло*? Все это остается невыясненным. Конкретное изучение славянской лексики показывает, что

¹ См. об этом: М. М. Покровский, Семасиологические исследования в области древних языков, «Уч. зап. Имп. Моск. ун-та», Отдел историко-филологический, вып. 23, 1896; е го же, Несколько вопросов из области семасиологии, «Филол. обозрение», т. XII, кн. 1, М., 1897; В. В. Виноградов, Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии, сб. «Вопросы теории и истории языка...», М., 1952 (особенно глава IV — стр. 118 и сл.); е го же, Из истории лексикологии, «Докл. и сообщ. [Ин-та языкознания АН СССР]», вып. X, М., 1956 (особенно стр. 9—16). Ср. также О. С. Ахманова, В. В. Виноградов, В. В. Иванов, О некоторых вопросах и задачах описательной, исторической и сравнительно-исторической лексикологии, ВЯ, 1956, № 3 (особенно стр. 20).

² О. С. Ахманова, В. В. Виноградов, В. В. Иванов, указ. соч., стр. 16.

поразительная лексическая близость славянских языков не ограничивается совпадениями в области «важных, жизненно необходимых понятий». Взять хотя бы семантический круг слов, связанных с понятием «глаза»: общеславянскими окажутся не только такие слова, как *очи, видеть, глядеть, плакать, слезы, веко, ресница, бровь, белок, зрачок, слепой, бельмо* (или иные образования от тех же корней), но и такие слова, как *моргать, мигать, жмурить*, даже *таращить* (ср. чеш. *vyléštili o'í*). Вряд ли все приведенные слова П. Я. Черных отнес бы к числу «жизненно необходимых понятий», а между тем их распространенность по всей (или по значительной части) славянской территории очевидна.

Специфика русской (в том числе и древнерусской) лексики может быть рельефно показана лишь на фоне специфики лексических средств остальных славянских языков, с полным учетом не только совпадений, но и типичных расхождений, обусловленных историческими судьбами носителей этих языков и в значительной мере объясняемых продолжительным общением с тем или иным неславянским этносом. Для современных славянских языков весьма характерны расхождения в отвлеченной лексике при почти полном сохранении общности в пределах лексики бытовой. Автор этих вопросов почти не затрагивает. Вот почему ему, на наш взгляд, не удалось показать своеобразие русской лексики на фоне сопоставления ее с лексикой родственных языков.

П. Я. Черных вводит новое понятие «действующий словарь», подразумевая под этим «не только наиболее существенную в данный исторический отрезок времени, но и наиболее привычную для говорящих, наиболее часто используемую ими в данных условиях общественной жизни часть словарного состава» (стр. 17). При всей своей условности это понятие кажется нам полезным и практичным. Оно позволяет, например, правильно отнестись к многочисленным *ἀπαξ λεγόμενα*, к явно индивидуальным словам и выражениям отдельных авторов (таких, например, как Даниил Заточник). Оно позволяет автору отметить, что многие слова, встречающиеся в дипломатических документах XVII в., были в то время известны лишь узкому кругу лиц и только впоследствии вошли в общее употребление; ср. *кардинал* (1654), *секретарь* (1654), *сенатор* (1656) и др. (стр. 236). В «действующий словарь» эти слова вошли гораздо позже, а некоторые в него вовсе не попали (например, *ратман, гентилмен*).

Автор считает целесообразным различать «словарный фонд» языка, с которого начинается развитие словаря, и «основной словарный фонд», в который превращается «словарный фонд» по мере накопления новых словарных элементов (стр. 21). Поскольку «главным источником» основного словарного фонда все время продолжает служить «словарный фонд доисторической, доклассовой эпохи» (стр. 22), то остается не вполне ясным, в чем именно П. Я. Черных усматривает разницу между «словарным фондом» и «основным словарным фондом». При конкретной разработке материала автор, однако, больше не прибегает к этим различиям.

По вопросу о границах слова, т. е. об основных единицах лексикологии, автор придерживается известной формулировки Ф. Ф. Фортунатова (стр. 22). Там, где слова грамматически, фонетически и графически «единообразно оформлены, в русском языке нет как будто затруднений. Но как рассматривать, к примеру, лексические единицы типа *жар-птица, баба-яга, конек-горбунок* или в современном языке *кают-компания, каюталюкс, стоп-кран* и др.? Имеем ли мы здесь дело с одним или с двумя словами? Признаки орфографические или даже пунктуационные, на которые ссылается автор (стр. 22), тут, очевидно, ни при чем. Так как служебные слова оставлены автором без внимания, то вопрос о самостоятельности, семантической и формальной специфике слова и его границах остается теоретически не освещенным.

Взгляды П. Я. Черных на фразеологию изложены весьма лаконично. Здесь различаются «лексикализованные» сочетания (типа *железная дорога*) и «несвободные», или «устойчивые», словосочетания (типа *бить баклуши*), в состав которых входят непонятные ныне, пережиточные элементы (стр. 23). Не рассматривая специально фразеологический материал и приведя лишь несколько иллюстраций, автор попутно повторяет (без указания источника) фантастическую «этимологию» выражения *у черта на куличиках*, данную в свое время С. Максимовым¹; но если *куличики* восходят к обл. *кулига* «болото, загон», то почему уменьшительное звучит *кулички*, а не *кулижки* (так у Дала)? Дело обстоит гораздо проще. Это грубое выражение заимствовано из польского, где *kuliczki* является малоценным словом со значением «testes».

Во в т о р о й главе П. Я. Черных дает общую характеристику общеславянского словарного фонда. В этой главе могли бы быть использованы результаты новейших исследований по славянской и индоевропейской лексике. Вся эта глава, однако, поражает не только устарелостью высказываемых научных взглядов, но и архаичностью самой терминологии. Примеры из Авесты автор приводит под меткой «zend.» (например, стр. 25), причем в «Списке сокращений» (стр. 240) эта метка не раскрывается. Балтийские языки названы почему-то «айтскими» (стр. 25).

Основными источниками автора по этимологии являются этимологические словари А. Г. Преображенского и Ф. Миклошича. Автор лишь изредка прибегает к сло-

¹ См. С. Максимов, Крылатые слова, М., 1955, стр. 54—58.

варю Э. Бернекера и почти не пользуется современными словарями И. Голуба — Фр. Копечного, М. Фасмера или Фр. Славского, не говоря уже об этимологических словарях Э. Буасака (E. Boissac), А. Эрну — А. Мейе, З. Файста, А. Вальде и новейшего этимологического словаря индоевропейских языков И. Покорного. В учебнике типа рассматриваемого «Очерка» следовало бы ограничиться приведением бесспорных этимологий, расширяющих общий лингвистический кругозор студентов. Вместо этого П. Я. Черных особенно часто останавливается на этимологии таких слов, которые критичный А. Г. Преображенский снабдил меткой «неясно» (например, *коровой, щука* и др.), «не объяснено» (*морда* и др.), «объяснений много» (*человек*). Иногда автор приводит собственную этимологию (о чем ниже), но чаще всего он возвращается к давно отвергнутым «этимологиям» своих предшественников, далеко не всегда указывая возможность и другого толкования данного слова.

В качестве справочников по современным славянским языкам приводятся, например, «Словачко-русский словарь» и «Дифференциальный сербско-русский словарь» Л. А. Мичатка (1900 и 1903 гг.). Автор этих словарей многое сделал для популяризации славянских языков в России, но в настоящее время его лексикологические работы безнадежно устарели. С тех пор вышло немало и словацких и сербских словарей, гораздо полнее и точнее отражающих современный словацкий или сербохорватский языки. Автор не приводит источников по чешскому языку, но, судя по архаичности приводимых чешских примеров, это может быть только словарь Ф. Ш. Котта (1878—1893).

Давая характеристику индоевропейского лексического наследства в славянских языках, П. Я. Черных мог бы указать на характер лексических совпадений славянской лексики с лексикой индоевропейских языков других групп. Он мог бы воспользоваться работами А. Мейе по вопросу о лексике «северо-западных» индоевропейских диалектов, указать на поразительные совпадения славянских лексических элементов с балтийскими, итальяскими, кельтскими и германскими в области сельскохозяйственной терминологии (*жернов, молот, пшати — пшевица, поросенок, боб*), в области «лесных» слов (*мох, муха, оса, шершень, названия лесных деревьев*), в области технического словаря (*коват, сек, секира, плести*), в сфере общественных терминов (*гость, слабость, труд, мена*), остановиться на названиях «соли» и «моря». Это позволило бы автору показать молодым филологам важность этимологических разысканий для археологии, для выяснения объема и специфики материальной и духовной культуры наших предков. В этой области имеются прекрасные образцы: как интересно написана соответствующая глава в книге А. М. Селищева «Славянское языкознание», I (1941). Вместо всего этого автор сообщает, что «нередко, однако, соответствия оказываются только в и.-е. языках европейских народов» и добавляет: «Любопытно, что там (т. е. в индо-иранских языках.— А. И.) отсутствуют и образования с корнем **se-* «сеять» (стр. 25). Вряд ли студентам, ничего не узнавшим о характере лексических соответствий славянских с другими европейскими языками, упоминание об отсутствии корня * *se-* в индо-иранских языках покажется «любопытным».

Автор обходит молчанием интереснейшие славяно-хеттские лексические соотношения, такие, как *dalugašti* — старослав. *длъгость*, наличие суффикса *-tel-* (слав. *-тель*), увеличительного суффикса *-anzi* (русс.-*-ущий*) в хеттском¹. Не затронут вопрос общей балто-славянской лексики, не указаны лексические связи славянских языков с индоевропейским Востоком. Ввиду всего сказанного можно утверждать, что автору не удалось дать сколько-нибудь пластическую картину славянской лексики в целом.

П. Я. Черных комментирует отдельные общеславянские (а также «междуславянские» (?) слова, группируя их по таким «семантическим группам», как «человек, люди», «животный мир», «труд» и т. п. Такая группировка оказывается чисто внешней. Автор не рассматривает развитие отдельных лексических групп как систему, слова комментируются изолированно друг от друга. Используя данные по сельскохозяйственной терминологии у славян, можно было бы наглядно показать специфику их материальной культуры, как это сделал акад. Б. Д. Греков в своей книге «Крестьяне на Руси»². Можно было бы показать использование названий красок при наименовании металлов, животных, растений. От всего этого автор отказался. К тому же в его этимологических комментариях бросаются в глаза многочисленные неточности, недосмотры, недоразумения, а подчас и просто ошибки. Почему, например, автор считает, что такие слова, как *дѣла*, «и по корню совершенно чужды другим индоевропейским языкам» (стр. 26)? Ведь корень *дѣ-* (в *дѣла, дѣлу*) восходит к и.-е. **dhe-*, чередующемуся с **dho-* и представленному в русск. *доить*, чеш. *dojití*, а в латинском языке словами типа *femina, fēlix*, греч. *θῆλυς* и т. д. На каком основании автор возводит лат. *pater*, греч. *patēr* и т. д. к корню *pāt* (: *pāt*)? Где засвидетельствован или кем восстановлен такой «корень» и что значит вариант *pāt*, приводимый в скобках (стр. 30)?

¹ Ср. хотя бы: А. Десницкая, О хеттском языке [вступ. статья в кн.: И. Фридрих, Краткая грамматика хеттского языка, перевод с нем., М., 1952], стр. 36.

² С. М. Б. Д. Греков, Крестьяне на Руси., I, 2-е изд., М., 1952, см. особенно вводную часть.

Нельзя, разумеется, ожидать, что автором будут введены в вузовский учебник некоторые, хотя бы самые достоверные результаты ларингальной гипотезы и основанной на этой гипотезе современной теории и.-е. аблаута. Но с тех пор, как было открыто закономерное соотношение греческого α и ст.-индийск. i , это соотношение обозначается условным символом * α (например, в слове * $pat\bar{e}r$).

П. Я. Черных определяет первичное значение слова *сын* как «производитель потомства» (стр. 31), совершенно не учитывая при этом, что корень, к которому восходит данное слово, значит не просто «производить потомство», а именно «рожать»; ср. ст.-индийск. $sū\bar{t}e$ «она рожает». Слово *сын*, следовательно, значит «рожденный, ребенок» (с точки зрения матери) и указывает на «матриархальное» происхождение этого слова, точно так же как и гот. $bair$ «сын», этимологически связанное с нем. $ge-bären$ «рожать».

Слово *дочь* имеет, по словам автора, «основу $d\bar{z}k-m$, восходящую к * $dhugh\bar{i}$ — «доить, сосать» (стр. 31). По поводу этой этимологии Э. Бернекер писал в 1908 г.: «Принадлежащему Лассену толкованию этого слова как „доярка“ (Бопп: „грудной ребенок“) (к ст.-индийск. $dōgdhi$, „доить“) теперь, пожалуй, никто больше не верит»¹. А. Г. Преображенский дает старую этимологию, но прибавляет: «Ныне это толкование не все разделяют» («Этимологический словарь русского языка», I, стр. 93). Но П. Я. Черных не довольствуется значением «доярка», а идет еще дальше и «вскрывает» первичное значение слова *дочь* как «дающая молоко» (стр. 31). Позволительно спросить: кому, собственно, дочери дают молоко?

Автор ошибается, считая, что слова типа *братеньцъ, сестреница* не имеют «номенклатурного характера» (стр. 30—31). Эти слова являются основными терминами двоюродного родства; ср. чеш. $bratranec$ «двоюродный брат», $sestřenice$ «двоюродная сестра». В этих словах сохранилось воспоминание о так называемом кросскузенном браке².

Типичной для автора является такая аргументация: «Если корневая часть о. с. $język$ восходит к $\epsilon\bar{z}$: $o\bar{z}$ (срв. рус. $узы, узел, вязать$ и пр.), то это слово уже в общеславянском языке могло иметь значение „народность“» (стр. 35). А если слово $język$ не восходит к $\epsilon\bar{z}$: $o\bar{z}$? Известно, что в начале слова * o чередуется обычно не с * ϵ - и не с * $\bar{\epsilon}$ -, а с * $\bar{v}\epsilon$ - (срв. $вязати$ — $узел$, русск. $вялѣти$ < $v\bar{e}dliti$ — чеш. $uditi$ < $qđiti$ «копнуть»). Никто серьезно не сомневается в том, что слав. $język$ неотделимо от др.-лат. $lingua$, лат. $lingua$, гот. $tuggō$, несмотря на несоответствия в начале слова. И можно ли допустить, что исконное значение слова $język$ было не «язык как часть тела» (и отсюда: «язык» — «речь» и далее: «речь» — «этнос, говорящий на данном языке»), а именно «народность»?

Автор считает возможным усомниться в большей древности формы *слобѣне*, а в доказательство того, что «вариант основы *слав*- не менее древен, чем *слов*», ссылается на средневековые греческую и латинскую формы этого слова: $slavini$, $slaveni$, а также на германские языки (нем. $Slave$, англ. $Slav$ и т. п.) (стр. 35—36). Автору не может быть неизвестным, что краткое славянское * o воспринималось и передавалось иностранцами как краткое a , о чем свидетельствуют записи имен антских князей, запись $Dragawitus$ вместо * $dragovits$ на германском севере (789 г.), а также многочисленные соответствия иноязычного a славянскому o в заимствованиях, например, греч. $\Sigma\alpha\tau\alpha\bar{\alpha}\varsigma$ и ст.-сл. $сотона$, др.-в.-нем. $scado$ — чеш. $\check{s}koda$ и т. п. Слова типа $Slave$ являются, конечно, книжными латинизмами (вроде нашего *германец*) и в счет не идут. Слово $Slave$ в немецком языке сравнительно новое; славяне назывались $Wenden$, $Winden$.

На каком основании автор возводит лат. $ursus$ к фантастической форме * $orcosos$ (стр. 39)? Это слово восстанавливается на основании ст.-индийск. $ar\bar{s}a$ (ср. ирл., алб. art и т. д.), греч. $\alpha\rho\kappa\tau\omicron\varsigma$ как * $rk\bar{f}o-$ или * $ark\bar{f}o-$.

Связывать имя *слона* с глаголом *прислониться*, как это делает автор (вслед за Брандтом, Преображенским и др.) (стр. 41), можно разве только в порядке известного каламбура о разнице между роялем и слоном, который-де может прислониться к роялю, а рояль к слоноу не может приложиться.

Сопоставлять слав. $рьсь$ «собака» с и.-е. названием «скота» (лат. $pecus$ и пр.), как это делает автор (стр. 42), можно лишь в том плане, в котором акад. Н. Я. Марр «увязывал» лат. $canis$ «собака» с славянским *конь*.

О. Н. Трубачев убедительно показал, что русск. *собака* не является заимствованием из зенд. $craka$ (как указано, вслед за Ф. Миклошичем, у П. Я. Черных на стр. 42), а связано со славянским словом *sobъ* «(северный) олень» и имело первичное значение «собака для охоты на (северного) оленя», нем. $Hirschhund$ ³. Следует только пожалеть,

¹ E. Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch, Lief. 1, Heidelberg, 1908, стр. 244.

² Ср. А. В. Исаченко, Индоевропейская и славянская терминология родства в свете марксистского языкознания, «Slavia», рош. XXII, seš. 1, 1953.

³ См. О. Н. Трубачев, К этимологии слова *собака*, «Краткие сообщ. [Ин-та славяноведения АН СССР]», вып. 15, М., 1955, стр. 48 и сл.

что П. Я. Черных, принципиально стремящийся сократить число заимствований в славянских языках, не использовал этой хорошо аргументированной этимологии.

Автор считает допустимым связывать название *щуки* с глаголом *щупать* (стр. 48). Но о какой семантической связи здесь может быть речь? Между тем гораздо правдоподобнее, что название рыбы образовано от прилагательного *щуплый*; ср. польск. *szczuprak* «щука» (слово *szczuprak* приводится автором). Нельзя не согласиться с тем, что эта рыба имеет особенно тонкое туловище по сравнению с такими рыбами, как карась, лещ и т. п. В чешском языке молодая щука называется *šihlákto* от прилагательного *šihlý* «тонкий, особенно в поясе»¹.

П. Я. Черных считает слав. *(j)abľko*, по-видимому, заимствованием из др.-кельтск. *abhal*, *aball* (стр. 52). Какой из древнекельтских языков здесь имеется в виду? И следует ли отнести к древнекельтским заимствованиям также лит. *obuolys* «яблоко», нем. *Apfel* и т. д.? До сих пор это слово считалось относящимся к фонду европейской группы и.-е. языков.

Из книги мы узнаем, что русск. *serp* находит себе параллель в лат. *serpens* «змея» (стр. 59). А. Г. Преображенский был на этот счет осторожней (ср. т. I, стр. 281). Слово *serp* этимологически связано с лат. *sarpo* «я срезаю», греч. *ἄρπη* «серп», а лат. *serpens* является причастием от лат. глагола *serpo* «я ползу», греч. *ἔρπω* «я крадусь, ползу».

Нам неизвестны и в «Очерке» не указаны аргументы, позволяющие автору предполагать, что слово *хлѣбъ* попало в «древнегерманские языки... со славянской территории» (стр. 67).

П. Я. Черных (вслед за И. Зубатым) допускает связь слов *коровай* и *коровяк* «куча, глыба коровьего навоза» (стр. 67). При всем желании трудно согласиться с возможностью переноса названия испражнений на название хлеба.

П. Я. Черных пишет: «В связи с древнерусским *мамона*—, обезьяна“ представляет интерес история слова *мамонт*» (стр. 41). Какая между этими словами связь? Мы узнаем, что в «русском языке, как и в других языках на Западе, это слово стало известно только в XIX в.» и что в западноевропейские языки оно попало «из сочинений акад. Бэра» (там же). Этот исторический комментарий неточен. Название *мамонта* было впервые записано на Западе Ричардом Джеймсом в его «Русско-английском словаре» 1618 г. в форме *Maimanto*². Упоминание, к сожалению, пока еще не издан, но о слове *Maimanto* имеется в литературе упоминание³. Слово *мамонт* было известно на Западе во всяком случае начиная с XVII в.: его знал и записал мэр города Амстердама Николас Витсен (Nicolaus Witsen) в 1692 г. в форме *mattmout*⁴. Отсюда, а не из работ акад. Бэра оно, по-видимому, проникло в другие европейские языки.

Автор считает вполне возможным связать слово *брюки* с *Брюгге* — «названием старинного города во Франции» (стр. 72). Но, во-первых, это слово, бесспорно, заимствовано из голландск. *broek* «штаны» в эпоху Петра I, а во-вторых, город Брюгге находится не во Франции, а в Бельгии.

Существительное *чулок* автор связывает со словом *куль*, причем это последнее сближается с лат. *culleus* «кожаный мешок» (стр. 78). Для того чтобы принять такое объяснение, надо допустить, что речь идет о рефлексе двух чередующихся основ: *куль* (<**koul-*) и *чул-* (<**kceul-*). Но в других и.-е. языках как будто нет и следа предлагаемой основы **kceul-*, тем более что *чулок* — явный тюркизм.

Слово *сапог* автор склонен возводить, вслед за Соболевским и Преображенским, к «гнезду *сопѣти*». Эволюция этого слова представлена следующим образом: *сопухъ* > *сопогъ* > *сапогъ* (стр. 77). По мнению автора, *сопухъ* своей формой напоминает «трубу», и, следовательно, может быть связан с такими словами, как *сопль* «труба» или *сопѣль* «свирель» (стр. 77). Почему-то принято думать, что слово *сапогъ* — исключительно восточнославянское слово⁵. На самом же деле слово *сапогъ* хорошо известно в старославянском языке. Оно встречается в Мариином евангелии (7 раз), в Зографском и в Ассеманьевом. Но там оно передает греческое слово *σπαδῖα* «саңдалия», дословно «подвязанное». Все рассуждения П. Я. Черных оказываются, таким образом, беспочвенными, ибо «саңдалии» не имеют голенища и ничем не напоминают «трубу». Следовательно, отпадает и возможность связать слово *сапогъ* с «гнездом *сопѣти*».

¹ См. F. Trávníček, *Slovník jazyka českého*, Praha, 1952, стр. 1514.

² Словарь хранится в Бодлеанской библиотеке в Оксфорде под сигнатурой MS. James 43*.

³ См. J. S. G. Simons and B. O. Unbegaun, *Slavonic Manuscript Vocabularies in the Bodleian library*, «Oxford Slavonic papers», vol. II (1951), Oxford, 1954, стр. 125.

⁴ Ср. R. van der Meulen, *De naam van den mammoth* («Mededeelingen der K. Akademie van wetenschappen», afd. letterkunde, deel 63, Serie A, № 12), Amsterdam, 1927, стр. 19.

⁵ Ср. в рецензии Л. А. Булаховского на «Историческую грамматику русского языка» П. Я. Черных: «...почему при слове *сапог*, вовсе неизвестном вне восточнославянских языков, на это не указано тут же?» (ВЯ, 1953, № 1, стр. 135).

По поводу слова *комната* автор указывает, что это слово сначала появилось в Новгороде, и считает, что оно заимствовано «через немецкое посредство» (стр. 81). М. Фасмер предполагает др.-в.-нем. посредство (др.-в.-нем. *chemināta*)¹. В ср.-в.-нем. имеются формы *kemenāte* и *kamenāte* «комната»² с ударением на предпоследнем слоге. В свое время Р. О. Якобсон высказал предположение, что слово *комната* попало в русский язык непосредственно из чеш. *komnata* (с ударением на первом слоге)³. Интересно, что это слово, по свидетельству П. Я. Черных, отмечено впервые на северо-западе, в Новгороде. Именно в новгородской письменности имеется немало слов, совпадающих с соответствующими западнославянскими (чешскими и словацкими) формами. Сюда относятся такие слова, как *обилъ* в значении «хлеб (на корню)» (чеш. *obilí*, словацк. *obilie* «то же»), наречие *лони* «в прошлом году» (чеш. *loni* «то же»). Сюда же относится слово *мюринъ* (Новгородская первая летопись), слово *корочунъ* (там же) и др. Слово *мюринъ* переводится в «Хрестоматии по истории русского языка» (Акад. С. П. Обнорского и С. Г. Бархударова как «бес» (стр. 372), хотя контекст исключает такое толкование (*а мюрини ти бѣси соуть*), тем более, что выше *мюрини* характеризуются как *мужи чьрни велици*. Ясно, что *мюринъ* — это чеш. *mořevín*, словацк. *murín* «мавр, арап, эфиоп»; ср. нем. *Mohr*. Другим таким словом, связывающим новгородскую лексику прямо или косвенно с словацким языком, является *корочунъ* в Новгородской летописи по Синодальному списку. Карамзин толковал это слово как «пост перед рождеством», от «коротких» дней («История государства российского», II, примеч. 288). В упомянутой «Хрестоматии» это слово встречается, но в Словаре отсутствует. Полногласная форма *корочунъ* полностью соответствует словацк. *kračún* «Рождество, сочельник», рум. *crăciun* «Рождество», откуда венг. *karácsony* «Рождество». Само слово восходит, по-видимому, к балканско-романскому **creationem*, как сербское *рачун* «счет» к *rationem*. Наличие таких слов, как *комната*, *корочунъ*, *мюринъ*, *обилъ*, *лони* и др., на русском северо-западе может послужить поводом для более подробных исследований в области западнославянско-русских лексических параллелей.

Автор не всегда критически пользуется источниками. Так, слова *жить*, *животь*, *жиръ* возводятся им к и.-е. корню **gʰeie* (стр. 89). Эту реконструкцию находим у А. Г. Преображенского, где она приведена в связи с словами *живу*, *животь* в виде *gʰeieŋ* (т. I, стр. 234). В то время в науке было распространено учение о так называемых «тяжелых базах» в и.-е. праязыке. Является ли П. Я. Черных сторонником этого учения? Но даже с точки зрения учения о «тяжелых базах» слова *жить* и *жиръ* могут восходить только к и.-е. корню **gʰei-* или **gʰi-*.

Приводя прилагательное *лиловый*, автор в скобках помещает следующее: «срв. *лилия*» (стр. 91). Подобное сравнение может вызвать лишь недоумение, ибо *лилия* белая (ср. «белый, как лилия»). Прилагательное *лиловый* образовано от французского *lilas* «сирень» и «сиреневый» и действительно значит в русском языке «сиреневый», в чем нетрудно убедиться хотя бы по этимологическому словарю Преображенского (I, 454).

Примером этимологических импровизаций могут служить рассуждения П. Я. Черных по поводу древнерусского названия одного из осенних месяцев *рюинъ*. «Не находится ли это слово в связи с глаголом *рюти* (реветь, скрежетать зубами и пр.) или *рютие* — шипение и др.», — спрашивает автор (стр. 139). Связь слова *рюинъ* с глаголом *рюти* «реветь» совершенно очевидна и никогда никем не ставилась под сомнение. Автор продолжает: может быть, глагол *рюти* или *рютие* «относится к дождю, к шуму дождя в ненастную погоду» (там же). В чешском языке *řije* обозначает «рев», но употребляется только в значении «рев оленя во время течки», «период течки оленей». В словаре акад. Фр. Травнича слова *říjen* «октябрь», *říje* и глагол *říti* помещены даже в одном гнезде.

Автор решительно отказывается рассматривать слав. *скот* как заимствование из гот. *skatts*, ибо при таком толковании «не учитывается, что в др.-германских языках параллельные слова имеют только значение „деньги“» (стр. 143). Это не совсем так: фриз. *skett* значит и «деньги» и «скот»⁴; связь с фантастическим и.-е. **sketh* «колоть», предложенная Г. А. Ильинским, неприемлема.

Автор указывает, что название огнестрельного оружия *пицаль* некогда имело значение «свирель» (стр. 221). Это вполне справедливо. Но вряд ли правильно, что глагол *пицати* имел также значение «трещать» (там же). И уж совсем неверно было бы

¹ M. V a s m e r, Russisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I, Heidelberg, 1953, стр. 609.

² M. L e x e r, Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, 27-e Aufl., Leipzig, 1953, стр. 106.

³ R. J a k o b s o n, Význam ruské filologie pro bohemistiku, «Slovo a slovesnost», ročn. IV, číslo 4, 1938, стр. 228.

⁴ См. S. F e i s t, Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache, Leiden, 1939, стр. 429.

связывать (а намек на это есть в книге) слово *пицаль* как название огнестрельного оружия с таким значением («трещалка», «трещотка»). Это слово — из чешского *píšťala*, появившегося в период гуситских войн и распространившегося в Европе; ср. нем. *Pistole*, франц. *pistolet*, откуда русск. *пистолет*.

На этом закончим обзор некоторых этимологических этюдов, предлагаемых П. Я. Черных. Эти этимологии не носят характер новых, научно-аргументированных попыток решить спорные вопросы. Начинающему филологу, принимающему высказывания авторитетного ученого на веру, они дают очень мало.

В третьей главе дается краткий обзор восточнославянской лексики, причем приводится обычный репертуар слов (*семья, собака, белка, селезень, ковш, дешевый* и др.). Все эти слова приведены (в числе других) Н. Н. Дурново в его «Введении в историю русского языка»¹.

Четвертая глава посвящена эпохе Киевской Руси, возникновению русского литературного языка, пополнению словаря в эту эпоху. Здесь не место останавливаться на высказываниях П. Я. Черных по вопросу о происхождении славянского письма, о его вере в существование «русских писем» в качестве восточнославянской письменности в X в. «и даже раньше» (стр. 99), о «паличии каких-то систем „русского“ письма... столетия за два до официального крещения Руси» (там же). Без приведения дополнительных новых фактов нам кажется лишним воскрешать эти мало правдоподобные предположения. Автор говорит о литературном языке древней Руси, возникшем на восточнославянской народной основе, о возникновении «древнекиевского койне». «Возможно, что именно благодаря этому койне в древнерусскую эпоху получили широкое распространение *о, е* в сильном положении *вм. ѡ, ѣ...*» (стр. 110). Значит ли это, что без предполагаемого автором «древнекиевского койне» переход *ѡ, ѣ* в *о, е* получился бы «менее широкое распространение», например в том смысле, что этот фонетический закон охватил бы только некоторые восточнославянские диалекты, или в том смысле, что вокализация глухих проявилась бы лишь в некоторых словах? И для чего вводить в учебник такие соображения, раз тут же сказано: «К сожалению, о древнекиевском койне очень трудно судить, так как достоверных письменных памятников XI—XII вв. бесспорно киевского происхождения, написанных определенно (*sic!* — А. И.) в Киеве, очень немного, причем, как правило, они написаны на старославянском (хотя и „русифицированном“) языке» (стр. 110).

Говоря об иноязычных элементах в древнерусском языке, автор приводит заимствования из германских языков, из латинского, из греческого², из тюркских языков, из финского. В экскурсе о слове *варяг* (стр. 146—150) автор слова пытается обосновать высказанное им ранее предположение, что это слово чисто славянского происхождения. Для того чтобы принять его доводы, надо предположить: 1) что корнем слова *варяг* является слав. *вар-* «беречь, хранить, предупреждать»; 2) что слав. глагол *варити* мог первоначально иметь значение «верить» (стр. 148); 3) что существовало общеславянское слово *вара* со значением «присяга», «клятва» (стр. 148), хотя такое слово не засвидетельствовано; 4) что суффикс *-яг...* с течением времени был вытеснен суффиксом *-яга* (*бедняга, бродяга*)» (стр. 149). Все это настолько мало вероятно, что пока приходится довольствоваться старой этимологией, возводящей слово *варяг* (а также *буряг, коляга*) к скандинавскому источнику.

Наиболее удачной нам кажется последняя, пятая глава «Очерка», посвященная изменениям в словарном составе русского языка XVI—XVII вв. Это вполне естественно: автор в последнее время занимается памятниками XVII в. и, следовательно, располагает фактическим материалом, позволяющим ему делать некоторые обобщающие выводы и наглядно иллюстрировать свои мысли свежими примерами. Удачными следует признать этюды о глаголе *бросать* — *бросить* (стр. 186—188), о наречии *очень* (стр. 191—192), о слове *смута, смутиться* (стр. 193—195); интересны замечания автора о влиянии польской интервенции на русскую лексику (стр. 200 и сл.), об употреблении слова *вѣкша* (с XV в.) в значении «блок» (стр. 226). Вряд ли можно согласиться с тем, что слово *почта* «непосредственно восходит к нем. *Post*» (стр. 231). Непосредственным источником является, конечно, польская форма *poшта*. Содержателен экскурс о железнодорожной терминологии (стр. 232—234), хотя хронологически и выходящий за пределы древнерусского периода. К сожалению, автор не всегда учитывает замечания, сделанные ему по поводу его «Исторической грамматики русского языка» (1952) таким авторитетным критиком, как Л. А. Булаховский. Так, например, П. Я. Черных в «Очерке» повторяет догадку Преображенского о возможности сопоставления слова *пушка* с глаголом *пуцать* (стр. 218—219), хотя Л. А. Булаховским были приведены веские аргументы против такого сопоставления³.

¹ N. Durnov, Úvod do dějin jazyka ruského, díl I, Brno, 1927, стр. 104—105.

² Следует отметить, что, несмотря на возражения Л. А. Булаховского (указ. рец., стр. 137), П. Я. Черных продолжает считать возможным, что слова *огурец* и *секла* легли в основу греческих *aggrin* и *seutlon* (стр. 113, прим.).

³ См. Л. А. Булаховский, указ. рец., стр. 136.

Весьма неблагоприятное впечатление производят многочисленные неточности и ошибки (далеко не всегда опечатки!) в цитировании иноязычных примеров: чеш. *slovník* вместо *slovník* (стр. 7, примеч.); франц. *tente* вместо *tante* (стр. 32); чеш. *ptak* вместо *pták* (стр. 48); серб. *ела* вместо *jela* (стр. 52); чеш. *jerabina* вместо *jeřabina* (стр. 52); чеш. *páchatí* вместо *páchatí* (стр. 59); чеш. *ryže* вместо *ryže* (стр. 61); серб. *грожде* вместо *grožđe* (стр. 70); словенск. *chram* вместо *hram* (стр. 80); чеш. *jstina* вместо *jistina* (стр. 87); чеш. *hoiti* вместо *hojiti* (стр. 89); *Экблом* вместо *Экблом* или *Экблум* (стр. 100); греческого слова *chartiá* нет (стр. 120); чеш. *rytíř* вместо *rytíř* (стр. 123); чеш. *sněm* вместо *sněm* (стр. 126); чеш. *vitez* вместо *vítěz* (стр. 127); чеш. *pidmuž* вместо *pidimužik* (Травничек) (стр. 131); чеш. *krabka* не приводится у Травничка (стр. 134); чеш. *tyden* вместо *týden* (стр. 140); чеш. *kříž* вместо *kříž* (стр. 144); греч. *amygdalē* вместо *amygdálē* (стр. 151); чеш. *viko* вместо *viko* (стр. 166); вагон восходит не к нем. *Wagen*, а к франц. *wagon* (стр. 234); франц. *capot* вместо *capote* (стр. 234); франц. *hangard* вместо *hangar* (стр. 234) и многие другие.

В книге имеется ряд фактических неточностей. Так, в современном чешском языке нет слова *krak*, которое приводится автором на стр. 37; нет в современном чешском языке и слова *strible* (стр. 52); слово *luna* известно в словенском языке, хотя автор заявляет, что это слово чуждо сербскому и словенскому (стр. 54); глагола *хорать* (стр. 95) ни в чешском, ни в словацком нет.

«Очерк русской исторической лексикологии», к сожалению, не во всех своих частях обладает теми свойствами, которые мы вправе требовать в настоящее время от вузовского учебника. Наряду с интересными и свежими сведениями, сообщаемыми автором о лексике XVI—XVII вв., наряду с некоторыми этимологиями, заслуживающими внимания (например, этимология слова *шинель* на стр. 170—171 и др.), книга содержит много устарелого, спорного, а подчас и просто ошибочного. Надежным пособием для студентов-филологов она сможет послужить лишь после тщательной и всесторонней переработки.

А. В. Исаченко

B. O. Unbegaun. Russian versification. — Oxford, 1956. 164 стр.

Книга Б. О. Унбегауна «Русское стихосложение» — первая общая работа о русском стихе в западноевропейской литературе. Автор ее преследовал задачу: дать в сжатом, но все же достаточно полном изложении обзор основных вопросов русского стихосложения, избегая подробностей, не всегда доступных для иностранного читателя, впервые знакомящегося с русской метрикой.

В основу изложения положен исторический принцип. Хотя предметом рассмотрения является современное стихосложение, ограниченное временем от Жуковского до наших дней, однако вкратце автор дает сведения о стихотворных формах начиная с возникновения вирш (досиллабического периода, с первой половины XVII в.). Таким образом, все элементы стиха рассматриваются на фоне развития стихотворной системы. И самое разделение основной части на три раздела: стих силлабический, силлабо-тонический и тонический (акцентный) — соответствует не только трем типам стихосложения, но и трем эпохам в истории русской поэзии: стиху до Тредиаковского и Ломоносова, стиху, установившемуся со времен Ломоносова, и стиху новых поэтических школ. Естественно, что наибольшее внимание отводится стиху силлабо-тоническому, т. е. классическому русскому стиху.

Кроме этих трех разделов, книга содержит главы, посвященные вторичным ритмическим элементам (фонетика и синтаксис) и рифме. Раздел строфики не совсем последовательно включен в главы, посвященные силлабо-тоническому стиху. Между тем вопрос о строфическом построении одинаково относится ко всем видам стиха, включая силлабический и тонический, а потому следовало бы выделить его в особую главу, по соседству с главой о рифме (ввиду того, что основным средством построения стиха является соответствие рифмующихся стихов)¹.

¹ Тогда пришлось бы сказать, что первый стал писать октавы не Жуковский, а Феофан Прокопович. Кстати, и указание, что Жуковский впервые обратился к октавам в «Элегии на смерть королевы Вюртенбургской» в 1819 г., неправильно: написанные октавами посвящение к «Двенадцати спящим девам» напечатано в 1817 г.